

## ГОЛОВА ОЛОФЕРНА

– Сегодня вечером идем к тете Инне! – неотвратимым приговором прозвучали для меня слова матери.

– Можно я останусь дома? – без всякой надежды взмолился я.

– Нет. Как мы тебя оставим? Газ, электричество. Всякое может случиться, ты еще мал.

Как мог, оттягивал. Придумал, что шорты велики, а красные колготки — девчачьи. Раскусили, нарядили. На улице выклянчил мороженое, а там и ситро. Смилоствовались, купили. Съел, выпил по пути, медленно. Родители делали вид, что не замечают моей подавленности. Говоря о своем, тянули меня то за руки, то за ворот ветровки, как непослушного ослика. Дотянули.

Вошли в подъезд, как в камеру пыток. Пока лифт вез к «эшафоту», затошнило. Голова кружилась, ноги дрожали, слабели. Вывели, как под конвоем. Нажали на звонок. Прозвучал призывно. Я испуганно вздрогнул, а новый бледно-желтый дерматин, покрывающий дверь, усилил тошноту.

— Заждалась вас. Павлик, ты чего такой хмурый? Хочешь ситро? — как Кролик из мультфильма о Винни-Пухе, поправила очки тетя Инна.

Нескончаемый поток «вежливостей» еще больше закружил голову, которая была опущена и подбородком приросла к ключице. Только б не смотреть.

Дрожащими руками отрывал ботинки от онемевших ступней и хотел было слепым котенком проشمыгнуть в комнату, опустив голову, чтобы только не увидеть. (Она висела в гостиной и из прихожей была всегда хорошо видна.) Но тетя Инна неожиданно твердо взяла меня за плечи, указательным пальцем подняла мой подбородок кверху, и мертвая голова скользнула по зрачкам. Я потерял сознание и упал...

— Джиудита! Как же ты красива, Джиудита. Эти бедра совершенны, как колонны храма Артемиды. Посчитал, милая, я желал тебя сегодня целых пять раз. Но это не приносит удовлетворения. Скорее, наоборот, отчаяние. Хочется большего. Когда любишь... всегда так... Хм... Забавно, твоя лодыжка в масле, а запястье в грунте. Неужели мольберт заменил нам ложе любви, Джиудита? — он смеялся, сидя в кресле, с почти уже допитым бокалом красного вина.

— Говорят, этой весной будет сильное наводнение, — не слушая, с печалью в голосе сказала девушка, разглядывая большую беличью кисть.

— Кто опять распространяет эту чушь? Такое же, как всегда... — он поставил бокал на резной столик с улыбающимися по углам слониками. — Не бойся, милая, это все слухи. Мне говорили, что Венецию в этот раз укрепили достойно. Дубовые дамбы и все такое... В конце концов, уедем в Кастельфранко...

Слоники, казалось, поморщились.

— Да-а, достойно... — задумчиво протянула Джудита и вдруг суетливо перекрестилась. — Вчера весь день читала Библию, молилась... Ответь, милый, почему я такая слабая? Не чета тем, что в Писании...

— Это все преувеличения, не бери в голову... По красоте никто из них не сравнится с тобой...

— Не эта красота меня волнует...

— Духа ли? — зло усмехнулся он.

— Почему ты всегда смеешься надо мной?

— Я? Ты не права. Просто ценю в тебе лишь то, что явно...

— Тело?

— И оно прекрасно, моя милая Джудита. Бог свидетель, душа твоя под стать ему...

Девушка дунула на кисть и попудрила себе щеку:

— Помнишь ту вдову, которая отсекала голову персидскому злодею... Чтобы спасти народ свой...

— Ах, вот ты о чем! — оживился он, протягивая руку к недопитому вину. — Ну, да: *«Я совершу дело, которое пронесется сынам рода нашего в роды родов»*. А я всегда втайне симпатизировал месопотамскому разорителю. К тому же, точно знаю, неправда все это, и Навуходоносор вышел победителем. Да и она ли то была? Предатель Ахиор, сдается мне... Интересно, сколько вина было выпито из иерусалимских погребов?

— Как ты можешь так зло шутить? — Джудита раздраженно бросила кисть в медную чашу.

— Не слушай меня... Ты же знаешь, я всегда говорю в таком тоне. Это помогает мне сохранять чистоту ума. Прости безродного сироту.

Девушка подошла к окну, отодвинула рукой штору и прищу-

рилась от утреннего солнца. По каналу, умело орудуя веслом, вел в сторону площади Сан-Марко свою десятки раз штопаную лодку пожилой гондольер в черном плаще. Он вдруг поднял голову и посмотрел Джудите прямо в глаза. Что-то странное было в этом мимолетном взгляде — зловещее или злорадствующее, — что-то не присущее солнечному венецианскому лету. Правда, старик тут же простодушно улыбнулся, обнажив черные гнилушки зубов. Однако Джудита отпрянула от окна, уткнулась лицом в шторы и расплакалась.

— Что там? — он вскочил с кресла, опрокидывая бокал с вином.

— Так всегда... — девушка уставилась на расплывшуюся по полу красную лужицу. — Это потому, что мы обычные слабые существа. Нет в нас духа Божьего. Одни сомнения. И они ведут нас и руководят нами. Смотри, вино как кровь! — Она обреченно вздохнула. — Оттого и любая мелочь кажется трагедией. Ты вот картины пишешь... В тебе хоть что-то есть от Него. А я? Кто я и зачем?

— Молчи. Вино не виновато... Ты же знаешь, что все не так. — Он спрятал девушку большими руками, краем глаза провожая лодку со стариком. — Хотя, нет, говори... Вот именно, от Бога. Это не я пишу, Он водит моей рукой. Да и зыбко все... Иногда кажется, что если подпишу, хоть одну, Он оставит меня... Не бойся, это Карло, он привозит мне вино и сыр...

— Ты слишком мнителен, милый, — казалось, испугалась уже чего-то другого Джудита. — Рафаэль подписывает. А ты... ты лучше, чем он... Помнишь ту женщину на сундуке булочника Джованни? — она улыбнулась. — Они думают, это написал он, но не оставил подписи. Но я-то знаю, что это ты... К тому же, там и я...

— Все равно... Мне дела нет до Рафаэля. Писать мадонн, питая душу похотью одной — кощунство! Не удивлюсь, если испустит дух он на любовном ложе. Да что мне до него! Венеция каждый день рождает гениев. Тициан не менее одарен. Он еще покажет себя, ручаюсь. А наши с ним фрески в Фондако запо-

нят все...

Молчание наполнило мастерскую с обглоданными извечной сыростью потолком и стенами.

Они долго стояли, обняв друг друга. Ветер донес сладковатый запах воды, и вдруг его осенила какая-то мысль. Высвободившись из объятий девушки, ринулся он к окну и отчаянным движением сорвал штору.

— Ну-ка! — в заразительном восторге почти прокричал он. — Я лягу, а ты... ты укрой меня, да так, чтоб торчала одна голова... Давай же, Джуудита...

Девушка повиновалась, и вскоре он, удовлетворенный, принялся строить гримасы стоявшему в углу зеркалу.

— Вот так! — воскликнул он. — Так всё и будет. Встань надо мной. Возьми трость мою. Подойди ко мне. Ну что же ты медлишь? Нет, не то! Что-то не так!

Девушка уже покинули темные настроения.

— Большой Джорджо, ты потешный, как дитя! — засмеялась она. — Не могу понять, чего ты хочешь и что себе вообразил.

— Люблю тебя такой! — не унимался он. — Поставь же ногу мне на лоб, поставь... Давай... Джуудита... Замри теперь... Что чувствуешь?

— Тепло!

— Хм... А должна холод...

— Да?!

— Ну, вот... так все и было! Так все и будет! Моя «прекрасная вдова»! Вина!

И потекли дни. Девушка позировала каждое утро. Облаченная в тонкое бледно-розовое платье, с тростью в руках, которая в их разговорах именовалась «злодейским мечом», она становилась у окна, подкладывая под голую пятку большую оранжевую тыкву.

Наступила зима, холодная и снежная. Но, к счастью, принесла она уютный треск поленьев, запах невысыхающего масла и терпкий вкус прощальных поцелуев. А потом обрушилась и весна... Тающий снег сильно поднял воду, и наводнение, которого так

страшилась Джиудита, стало явью. Крысы, пугаясь вод, зловеще скребли пол и все чаще показывали свои усатые мордочки... А затем откуда-то с севера, позванивая глухими колокольчиками, пришла чума.

И однажды он заметил черное пятно на бедре Джиудиты.

— Сегодня последний день, милый, — твердо сказала она в тот вечер. — Я уйду. Смерть уже точит косу. Прощай, мой добрый большой Джорджо... Допишешь по памяти. Ведь ты будешь помнить меня?

Он смотрел на девушку, осторожно касаясь пальцами ее ресниц. Широкой теплой ладонью гладил потерявшую румянец, чуть прохладную кожу щек; слегка притрагивался солеными от слез губами к ее шее, которая по-прежнему была бела.

— Нет, Джиудита... Мои волосы черны, как вакса, и останутся такими навсегда... Как, впрочем, и у него, — он усмехнулся и кивнул на мольберт с почти готовой картиной. — Но главное не это... Никто и никогда, кроме нас с тобой, не будет знать, что герои не всегда герои, и злодеи не всегда злодеи, и что голова хмельного перса под пятой красавицы вдовы — это всего лишь ты и я. Хотя и любящие друг друга под звон чумных колокольчиков. Пусть только самое нежное сердце почувствует это. Увидит и не уstraшитса...

Через какое время я очнулся, сложно было понять. Напуганные родители делали вид, что все хорошо, дабы еще больше не пугать меня и не расстраивать гостеприимную и не меньше, чем они, переполошившуюся тетю Инну. Вскоре я уже сидел за столом, прожевывая странную котлету, начиненную рубленым яйцом, и пил ситро. Когда пришло время уходить, я без всякого страха подошел к картине. Осторожно тронул пальцами мертвую голову и внимательно посмотрел на Юдифь. Она была, как всегда, спокойна и красива, от ее лица словно струился неуловимый свет. И голова Олоферна была овеяна нежностью и любовью Юдифи.

## ПОД СТУК КОЛЕС...

*...Что было после? Что вначале?  
Чем осуждающе качали?  
Чьим подстаканником венчали  
На верхней полке наших грез?  
Кто, безутешный, был утешен?  
Кто грешный был, а стал безгрешен?  
И кто коснулся губ черешен  
ПодСтук Колес,  
ПодСтук Колес?...*

*Вадим Хавин*

М-да, телефон определенно следует поменять. Зарядки, без звонков-то, едва на три дня хватает, а с ними и одного не протянет. Шлет и шлет, сука. Как совокупляться с кем ни попадая, черта с два дозвонишься, а тут целый смс-роман. Дрянь.

До отхода поезда минут сорок. С неба немытого дождь нос мочит редкими каплями. Ветерок порывистый часы вокзальные мучает. Надо бы успеть купить воды, сигарет пару пачек, остальное в наличии.

Чего в Турцию не полетел, в октябре-то? Дался мне этот Крым. Откуда он в моей голове взялся? Не понимаю!

Ничего, прорвемся! Путем всё! Полезу на Ай-Петри, буду хлебать «Магарач», жрать липкую пахлаву на пляже, купаться... Хату бы снять путевую, с кондишеном, балконом и без тараканов. Хотя... Нет, все-таки в Турцию надо было. И Сенька Ляпишев звал, покувыркались бы всласть, как в том году.

Ну что опять? Да не буду я тебе перезванивать. Пусть тебе твой примат перезванивает.

Отключаю телефон, бросаю в сумку, иду за водой. Радует малое количество народу на перроне, огорчает мысль о возможности сопливой погоды в Крыму. Раз на раз не приходится.

Когда брал билет, кассирша с приторной улыбкой обещала, что, мол, буду в купе один, без попутчиков. Хотелось бы. А что?! Коньяк у меня есть в застаканнике, сервелат, огурцы с помидорами.

Сырок из одних дырок. Как разложу. Жажну сто с полтиной и спать. Хотя какой там спать? Таможня в полпятого. За границу ж еду. Тоже мне, размечтался. Ну, ничего...

— Проходим, проходим! Билетики показываем, не ленимся! — сипит дородная проводница неопределенного возраста. — Тааак, купе, молодой человек... (Делает вид, что смотрит мой билет.) Пиво, водка, коньяк, если что...

— Понял, буду иметь в виду, — без энтузиазма почти.

Народу в вагоне негусто. Половина от положенного. Едут ловить за хвост бархатный сезон. И я туда же. До отхода минут пятнадцать. Девушка в сиреневых лосинах на перроне терзает проводницу на предмет посадки, жестикулирует. Зачем, спрашивается? Полвагона порожняком. Хрень какая-то. Аа, может, тугриков не хватает на билет? Нет, тоже не то. Топай в плацкартный, дурында. Видать, свои тараканы. Да какое мне дело?

Ну, все, ща тронемся, и прощай, Москва-Сити! А что, все может быть, плаваю я плохо...

— Располагайся пока здесь, а там видно будет! — прокашливается проводница, пропуская в мое купе ту самую безбилетницу. — В Джанкое выходишь, говоришь?

— Да, в Джанкое, — кивает та и со всей дури шмякает чемодан мне на ногу.

— Вы полегче, девушка! — вежливо так.

Зыркает на меня, как ножом режет, жесткач полнейший. Лихо поднимает свободное сиденье и располагает под ним чемодан.

— Извините... — дежурно.

— Ничего, бывает.

— У меня нет.

Ты смотри, какая, с гонором. И где ж таких штампуют? Ну, сколько ей? Тридцатник? Не, чуть меньше. А спеси на весь полташ! Видать, жизнь успела по щам пошлепать. Ничего так, смазливая, хотя, по мне, плосковата будет. Да что я, в самом деле? Вот же...

Ну, наконец-то! Качнуло! Поехали. Тюх, тю-тюх. Все-таки не один. От судьбы не уйдешь. Поплыл перрон, или я, не разбе-



решь! Да черт с ним. С детства люблю в окно смотреть. Всю жизнь бы ехал и зырил на все эти беспонтовые игрушечные домики разной величины. На квадраты огородов. На поля, бескрайность которых подавляет. На реки, озера, мосты, колодцы-журавли. На кой они теперь, колодцы-то? Эх... На случайных прохожих, оказавшихся по непонятным мне причинам подле железки. Что они тут делают? Чего ищут? С лукошками и без. Может, грибы? Так грибы в лесу искать надо! Нет, не понимаю ничего! Вот я, обычный среднестатистический гражданин, никогда не оказывался около железной дороги ни с лукошком, ни без. Почему? Да потому что нечего мне здесь ловить. Нечего, и все тут. А за грибами я в магазин хожу... теперь. Определенно говорю, другой я, и тесто мое человеческое — песочное, а не дрожжевое. Так что люди эти особенные, видимо, и не по пути мне с ними, хоть застрели.

Сейчас что-то около шести, чем душу занять, ума не приложу. Спать рано, жрать тоже рано. Болтать не с кем, хотя, может, и есть с кем, но все это позже, наверное, будет, пока то да сё, раскочегарится. А сейчас сидим, молчим, принимаем вид абсолютной самодостаточности. Такие вот мы, важные. Пойду потравлюсь табаком, хоть какое-то движение...

Тамбур. Дымно. Начало пути вроде, а у пепельницы рот не закрывается. Нервный народ пошел. (Расслабляться не умеем.) Шумно от стука колес, но как-то весело на душе, суетливо. Стою один-одинешенек, дверь в следующий вагон лязгает туда-сюда. Нервишки на прочность испытывает. Ногой ее... Смотрю в окошко замызганное. Хорошо. Деревья, коровы, дети. Стоп-кран тем временем манит к себе, как красный платок — быка. Сорвать бы, обременить других и себя. Что за мысли, что за желанья? Летел бы сейчас в самолете в славный город Стамбул, пил шампанское, созерцал закопченные коленки стюардесс. Ну что тут скажешь? Идиот.

Возвращаюсь. Белье раздали. Моя попутчица уже постелила. Бойкая. Поглядывает искоса. Да нормальный я, не боись. Водичку тоже выстала, печенье «Крекер нежный». Сидит, в окошко

смотрит. А за окошком Тула во всей красе виднеется. Пряников купить, что ли, чаю надуться? Пойду...

— Вам пряников тульских не надобно? — спрашиваю.

Посмотрела первый раз по-человечьи. Почти улыбнулась. За кошельком потянулась.

— Да ладно, потом сочтемся, — говорю. — Со сгущенкой или с джемом?

— Со сгущенкой, — отвечает, улыбается. — И семечек, если...

Киваю. Семечки это хорошо, в поезде-то. Себе, что ли, взять?

Бабка с коробкой-лотком у самого выхода расселась. На лице гордость за товар заглавными буквами выведена. Эх, кабы ты сама их пекла, старая, цены б тебе не было...

— Мягкие? — нехотя так спрашиваю.

— Сынок, а как же!

— Два с джемом, три со сгущенкой.

Беру двумя пальцами, щупаю заодно. Действительно, мягкие. Приятно, когда не нажухивают.

— Семечки есть?

— И семки, и арахис жареный, пиво, водичка...

— Семечек.

Возвращаюсь в купе. Так же сидит, в окошко смотрит. Нет, определенно, ничего так... Вздрагивает, улыбается, за кошельком лезет:

— Сколько?

— Да нисколько, с женщин денег не беру!

— А я не люблю быть должной! Сколько? И закончим разговор.

— Двадцать.

— Чего врете-то, они по двадцать пять. Я часто здесь проезжаю.

Дает двадцать пять. Беру, что поделать. Вот какая дотошная. Про семечки, видать, и думать забыла. Выкладываю на стол два пакетика.

— А за семечки? — начинает опять свою считалочку.

— В нагрузку дали. Так что ничего не должны. Лускайте

на здоровье.

Губки поджала, успокоилась. Сидим, лускаем. Поезд потихоньку пошел-поехал. Что там дальше — Орел? Курск?

— А чего это вы такой добрый? — неожиданно хихикает, не глядя на меня.

Смотрю на нее в профиль. А чего? Даже красивая, курносенькая. И шея длинная, загорелая.

— Нашли, чем доброту мерить.

— А чем ее мерить?

Смеется, ресницами хлопает. Может, заигрывает? Черт разберет их бабьи повадки. Я тем временем в пакет лезу. Не выдерживаю, значит. Достая коньяка флягу полулитровую, запасы гастрономические. Стелю, полотенце казенное, то, которое вафельное, выкладываю.

— Будь моя воля, коньяком бы мерил. А так даже не знаю. Вы как, девушка, к коньяку относитесь?

С семечкой возится, долго так, видать, крепкая попалась семечка, сама глазки косит на мои яства холостяцкие.

— А вдруг у вас там подмешено что-нибудь усыпляющее. Усыпите бедную девушку, обворуете и...

— Какая вы, однако! — не улыбаюсь уже. — Ну, не хотите, как хотите. Буду один закусывать, раз подозреваете меня.

Сидит, чуть насупившись, не глядит на мой сыр, теперь уже плавленый, в окошко смотрит. Да чего смотреть-то туда? Ты сюда посмотри. Сервелат мой жилистый зацени! Эх, что за народ? Рюмки у меня ценные, под стать фляге, из нержавеющей стали. Купленные специально для такого вот неординарного случая. «Что ты, милая, смотришь искоса...» вспоминается... Наливаю, подношу, выдыхаю...

— Ладно, плесните, — говорит. — Что ж с вами делать?..

— Ну, вот это по-нашему! — оживляюсь прямо, наливаю поленькую.

— По-вашему, эт по-какому?! Стоп, стоп, стоп, куда столько?

— Как скажете... По-нашему, эт по-нашему, по-мужскому, значит. Ну, давайте, за знакомство! Коля, Николай то есть...

– Вера.

– Вераа?! Вера – это хорошо!

Пьем. Морщимся. Смотрим друг на друга. Гляжу, в своем пакете шарит. Достает яблоки, крупные, зеленые в красную полоску – штрейфлинг, по-моему.

– Закусывайте! – говорит, и сама кусает.

Молчу. Не знаю, что сказать. Может, оттого, что в первый раз в глаза ее посмотрел, да задержался больше положенного. Синие, васильковые, яркие, как небо в Крыму. Даже странно как-то сделалось на душе. Само лицо грубоватое малость, может, от загара, может, само по себе такое. Оттого и глаза заметнее кажутся. Смотрю, как дурак, оторваться не могу. Вот женщины, сила в них иная, магнитная. И что мы против нее?

– Что это вы на меня так уставились? – спрашивает настороженно.

– Не знаю... – смущаюсь; чувствую, уши гореть начинают. – Давайте, может, еще?

Кивает. Рюмочку ноготком отполированным тыкает, пробует на звучность. Наливаю, а сам чую, напрягся весь, оцепенел словно. Да что ж это со мной? Что я, баб в своей жизни не видел? Видел-перевидел, да так, что устать от них, окаянных, успел. Прежняя-то моя сколько гемоглобина испортила?! Никакой гематоген не поправит.

Посмотрела еще раз мельком в глаза мои (думала, не замечу), выдохнула, словно поняла что-то.

– Где трудишься? – в окошко все смотрит.

Как-то обидно этот вопрос для меня прозвучал. Будто от ответа моего зависит, сойдет Земля с орбиты этой ночью или дальше вертеться будет благополучно.

– На рынке, – с опаской так. – Строительном.

– Торгаш, значит! – ухмыльнулась. – А говоришь, «по-мужскому»!

Да, думаю, ушлая бабенка, с понятиями. Сама-то, поди, не в белых перчатках в офисе золотые яйца высиживает. Вот жизнь покатила, всяк норовит оценить друг дружку, да вывод

спешный сделать. Ей-богу, как в ломбарде! А домой приползает в пятницу потную, взмыленная от суеты житейской. В пакете пойло копеечное, да обид за пазухой ворох. А обиды те на жизнь свою нескладную, на то, что всё в ней не так, как задумывалось в начале, в том самом, когда «гусиные лапки» еще глаза не старили, да головушка сдачу серебром не выдавала. Сядет на кухоньке шестиметровой, хряпнет из рюмки дежурной, надколотой, сосиской крахмальной с пюрешкой закусит и смолит «элэмку» пополам с соплями да слезами. Выплачется, выговорится самой себе или такой же как сама — бедолажной, непристроенной, на другой день отойдет потихоньку и по новой, трензель в зубы, поскакали... А тут — нет! Тут мы все высокомерием балуемся, потому как знаем, что поутру разойдемся в разные стороны. Навсегда разойдемся.

— Каждому свое. Время такое, непростое... — оправдываюсь все-таки.

— А чем торгуешь?

— Я ж говорю, стройматериалы, ковровые покрытия, много чем.

— Да ты не бери в голову, эт я так. — В глазах еще больше цвета прибавила. — Думала, ты шофер. Не знаю почему.

— Шофер? — отпускает понемногу. — Ну а что, шоферить тоже могу, при надобности. А вы, что ж это, к шоферам неравнодушие имеете?

— Имею! — смеется в полную силу. — Мужчинка безлошадным быть не должен. Странно ты разговариваешь. Деревенский, что ли?

Смотри как, и на «ты» перешла незаметно. Деревенский, деревенский я. По акценту ли вычислила, либо еще как. Десять лет в столице пребываю, а всё распознают мое происхождение. Что ж, я не стыжусь. И жил бы я там у себя под Малоярославцем, коли б жизнь такая бесстыжая не пошла. Жил бы, не тужил. Что мне? Плотничал бы, себе и людям в пользу, или в колхозе тракторы починял. А теперь всё по-иному. Все за рублем в первопрестольную потянулись, как мухи на дерьмо. А дерьмо то, между

прочим, деньгами зовется. И никуда от этой правды не деться! Да и по большому-то счету, многие здесь не тутошние. Где они городские-то, коренные? Каждый второй из близлежащей области понаехал. Слово-то какое: «по-на-ехал», вот именно. Теперича тот, кто «понаехал», и про других «понаезжающих» так же рассуждает. По-на-е-ха-ли. Москва вся сплошь и рядом «понаеханная». Калуга, Тверь, Брянск, Рязань — вот она, столичная солянка.

— Ну, было дело когда-то, — смеюсь, — в прошлом веке. А что, к деревенским пренебрежение какое имеете?

— Ну что ты заладил: «имеете, имеете»? Что за лексикон такой? Ничего я не имею. Так, спрашиваю. Надо ж знать, с кем пьешь. Да и сама я тоже не столичная барышня. Ты наливай, чего застыл?

А что мне? Я налью! Уж чего, а этого добра никогда жалко не было.

— За что? — говорю.

— За что, за что! — без промедления. — За нас, гастарбайтеров. Или как нас теперь кличут? Торговля-то процветает? На хлеб с маслом набегают?

— Набегают. Не набегало бы, не торговал бы. А вообще, у меня несколько точек на рынке. Вроде как бизнес...

Не пьет. Медлит.

— Так ты, мужик, буржуй, значит? — смеется опять. — Тогда получается, и на икорку перепадает?

— Да какой из меня буржуй? Буржуй от такой работенки удавится через три дня, тоже мне, нашли слово! А на икорку, как вы говорите, перепадает, только мазать ее на то самое маслице сил нет.

Выпили по третьей. Снова молчим. Вроде коньяк действовать обязан, а не действует. Не расслабляет. Стена будто между нами полиуретановая стоит. Сам как дурак голову к окну отвернул и смотрю туда. Да еще как смотрю! Внимательно. Как будто явный интерес имею к творящемуся за окном. Волнуюсь на самом деле. Дыхание ее до меня долетает вместе с запахом духов. Что прикажете в таких случаях делать? Пить, наверное!

Дальше пить. Но мы не пьем.

– Покурю схожу, – говорит.

Киваю разрешительно. Наливаю невзначай, а что еще делать? Пить одному, при наличии собутыльника, конечно, дело последнее, но тут вроде как в кассу. И полегчало же! Сижусь один в купе, облокотившись о подушку без наволочки, и чувствую: сон меня срубает. Нет, спать нельзя сейчас, придет ведь с минуты на минуту. Нет, нельзя, нель...

...Старуха с сиреневыми, спутанными в колтуны волосами высматривает линолеум. Нюхает, на зуб пробует, недовольничает.

– Мне, – говорит, – профессиональный линолеум нужен! Тот, который в аэропортах стелют! Есть у тебя такой?

– Нет, мать, такого нет! – отвечаю каким-то не своим голосом, высоким и протяжным.

– А какой есть? Покрепче мне...

– Смотри, выбирай... Цвет какой нужен? – пою почти.

– Мне цвет неважен! Прочность важна!

– Тогда испанский бери, но он дорогой, – на фальцет срываюсь...

Смотрит прямо в глаза, а у самой вместо зрачков гайки полтора сантиметра диаметра. Смеется, скалится в ответ на мое удивление. Гляжу, вместо зубов заглушки мебельные, темно-коричневые.

– Режь, – говорит. – Двадцать квадратов мне надобно!

Киваю, отмеряю и режу, прямо ладонью. Она у меня по краю острая, как бритва опасная. Сам удивляюсь, и в то же время радуюсь такому преображению. Здорово, думаю, не нужны мне теперь ножи-то, как Ляпишеву...

Режу, режу, а он все никак не кончается. Бабка торопит меня, злорадно скалит зубы свои коричневые, а те выпадают на асфальт, катятся мне под ноги. А я режу все, режу, понимая, что нет этому линолеуму конца, и не будет. Плачу от тоски внезапной, а бабка смеется все пуще, а потом, прищурившись, говорит:

– Замуж возьмешь меня, тогда и кончится!

А тут и Ляпишев откуда ни возьмись, и вторит старухе: бери, мол, иначе так и будешь резать до самой смерти, без отдыха... А за ним следом продавцы из соседних палаток окружают меня и также без устали:

— Женись на ней, Коля, женись...

Старуха радуется такому обороту дела, прихорашивается. Волосы сиреневые поправляет рукой. Смотрю, а у нее тоже рука по краю заточена. Она себя ненароком по лицу как полоснет, кровь ручьем, а ей хоть бы хны... А продавцы во главе с Ляпишевым: «Женись, Коля, женись...»

— Эй, да что с вами? — слышу откуда-то сверху.

Открываю глаза — сиреневые лосины перед носом... Сморил, должно быть, бывает.

— Долго я спал-то?

— Часа два. — Смеется, успокаивается. — Кричал во сне, руками махал. Привиделось что?

— Да чертовщина какая-то! — говорю, сам на ладонь свою смотрю. Нормально все...

И так роскошно мне вдруг на душе сделалось, что рука у меня человеческая, обычная, а не нож. А коньяка-то еще почти целая фляга. Эх...

И пьем дальше. И как-то все иначе вдруг потекло. Без утайки. Рассказала мне, что квартиру снимает в Свиблово. Теперь вот к матери в Джанкой едет, «бабульки» везет. Потому и уговаривала проводницу плацкарт на купе с доплатой поменять. Про работу, правда, ни слова. Там-то, в Джанкое, с деньгами туго, по ее словам. Не по-детски туго. Я тоже про свое пою складно, про то, как зимой торговать муторно. Да что там... Курить ходим чуть ли не каждые пять минут, и если честно, напиваемся по-взрослому.

В очередной раз стоим в тамбуре, курим. С другого края парень молодой, тоже смолит. Длинноволосый, высокий, не в пример мне, мускулистый. А она все на него поглядывает искоса. Улыбается даже. Да так, что не заметить этого невозможно. Тот в адеквате, реагирует, подмигивает ей, лыбится. А меня вроде как и нет здесь. Вот же бабья натура.



Возвращаемся в купе. Молчу обиженно. А что, кому приятно такое видеть. Замечает, но делает вид, что ей побоку мои обиды. А я все смотрю на нее, специально смотрю, чтобы стыдно ей стало. Хотя сейчас такое время, что людям редко стыдиться приходится за свои проступки, всё оправдать норовят косячки свои.

— Ну что ты на меня уставился! Я девушка свободная, что хочу, то и делаю, и нечего меня здесь стыдить. Бабу свою стыди.

— Понятно, — говорю, — только нет у меня никакой бабы со вчерашнего дня. Потому как все вы теперича ядом распутства пропитаны. Ведете себя при каждом удобном случае, как...

Не договариваю. Стыдно мне девушкам такие словеса выплескивать.

— Ну, что замолчал, договаривай. Как кто?

— Да кто, кто! — не выдерживаю. — Как шлюхи подзаборные! И ты туда же. А еще такая красивая. Только, видать, Бог красотой одарил, а про совесть запамятовал.

И зря же я это... Вдруг чую, не то что-то с ней сделалось после моих слов. Как будто электрошокером шарахнуло. Аж передернуло, смотрю. Отвернулась опять к окну, да так, что и лица не видно. А мне вроде как нормально (под коньяком же), сижу, победой упиваюсь. Думаю, так тебе и надо, с другими будешь свой норов показывать. Минут пять сидим молча, потом голову поворачивает резко, глаза слезами переполнены, губки поджаты, кулачки наготове. Как хряснет кулачком тем по столику. Трах-тарарах! Фляга с коньяком на пол, крекер с сервелатом и сыром перемешался, и теперь уже никакой не нежный.

— А прав ты, мужик. Надо же... В точку плюнул... Шлюха я и есть! Как догадался-то, а? Молодец!

Молчу. Что тут скажешь? А она дальше, как с цепи сорвалась:

— Только там у нас, в Джанкое, наплевать всем, что да откуда. Там кроме дынь и нет-то ничего путного, а зимой так вообще ничего нет. Мертвый сезон. В Москве десятку в день спустить можно легко, а там месяц живешь не тужишь, нормально живешь, по-человечьи. А мне десятку за три часа кувырканий отстегивают. Блядь, расстроил ты меня, паря. Ох, как расстроил.

В одеяло с головой укуталась, отвернулась к стенке и оттуда продолжает сквозь слезы:

— Ты что ж это себе понапридумывал? Думаешь, напоил деву коньяком вонючим, так она и твоя теперь? Нет, Коля-Николай, не твоя! А то, что блядь я, так и это тоже не твоего ума дело, а моего, понял?! Да и кто, по-твоему, руку приложил к моей «профессии»? Ваш брат и приложил. Будь племя ваше козлиное неладно! Я тоже когда-то хорошей девочкой-неваляшечкой была. В куклы до пятнадцати лет играла. А подросла, в столицу нашей Родины учиться поперлась. Самостоятельности захотелось. Дура! С чистым сердцем и всем остальным природным багажом. Врачом мечтала стать. Белый халат, чистота. Думала, папу с мамой лечить буду. Приехала, поступила. С первого раза, причем! В общагу заселилась. Как все, латынь зубрила, анатомию. Да только зубрежка не помогла, потому как Бог невзначай наградил всякого рода выпуклостями и изгибами. И не заметишь их, а по юности особенно, никто не мог. И наши профессора похотливые тоже. Зачет ли, экзамен — Верочка, будь добра. Поначалу вежливо так намекали, с улыбочками мармеладными, а потом прямо в лобешник! Мол, давай, и все! А мне что? Ехать обратно? Стыдно-то по малолетству! Гордость душит. А ты говоришь... Была б постарше, послала бы это гребаное заведение к черту сразу. А тут что? Мозги девичьи, куриные. Терпела, надеялась. Жалела их даже, вроде как плюгавенькие, старенькие, и ничего-то у них в жизни не происходит... Этому дала, этому дала, по доброте душевной, прям как в сказке. Потом, только курсе на втором, дошло, что чем-то не тем занимаюсь, и что на хер мне высшее образование такой ценой. Забрала документы и с горя прямиком на Кутузовский — «плечевой», потом по барам, клубам ночным. Девушкой по вызову тоже пришлось. Сейчас бизнес сутенеры подладили, апартаменты... Короче, думала, если меня посчитали шлюхой, то такой мне и быть, значит. Так что язык свой поганый засунь знаешь куда! Да и сам-то ты кто? Торгаш сраный, барыга. Знаешь, что люди авторитетные про вас говорят? Нелюди вы! Сами ни хрена не умеете, чужой

труд втридорога продаете. Много ли ума надо? Я-то своим, Коля, торгую! А ты чьим? То-то!

Слушаю, а сам думаю: вот и начался твой отдых, Коля, качественный и полноценный. Девушки, коньяк, удобства, все как мечтал.

— Ладно, повздорили и хватит, — говорю, в пол глядя. — Прости, если обидел. Понравилась ты мне, вот и приревновал малость. Виноват — исправлюсь. За веником схожу...

Стучусь к проводнице. Минуты через две открывает. Пьяненькая тоже.

— Что хотели, молодой человек?

— Веник и совок.

Оценивающе окидывает взглядом. Ухмыляется чему-то, указывает на угол:

— Бери! Сам справишься, или помочь?

— Сам.

Прихожу. Сидит, в зеркальце смотрит дамское, тушь растекшуюся ваткой вытирает.

— И чем же? — говорит, не отрывая глаз от зеркальца, как будто ничего и не было.

— Что «чем»? — не понимаю.

— Чем понравилась-то?

— Глаза синие у тебя. Вот чем! — заметаю крекер с сыром.

— Дурачок, это ж линзы! — смеётся.

— Плевать. Все равно нравишься.

— Бывает.

— У меня нет.

Вдруг перестала красоту наводить, зеркальце бросила на стол и смотрит в упор на меня. Привык я к улыбке ее, видеть, за семь часов езды, и тут прямо остолбенел от такого серьезного взгляда. И лицо ее показалось в этот миг таким родным, близким, что захотелось непременно дотронуться до него, поцеловать. Сам собою выпал из рук веник, а потом и совок, и вот лицо мое уже около ее лица. Близко, безнадежно близко. Касаюсь ее щек едва губами, стираю поцелуями оставшиеся слезы. Соленые они

и родные как будто. И так больно мне внутри и в то же время радостно и сладко, что сам почти плачу. И случилось то, что, наверное, должно было случиться. И не было нам обоим стыдно за это случившееся.

Лежим вдвоем на нижней полке в обнимку. Гладит лицо мое небритое ладошкой нежно, но как-то настойчиво, как будто на ощупь пытается через это понять, узнать меня. Целует мой подбородок бережно, словно это что-то ее личное, только ей понятное и приятное. Я отзываюсь, пытаюсь поцеловать ее, она улыбается, и редкие капельки ее слез все падают мне на губы и щеки.

— Что с тобой? — говорю. — Зачем?

— Ничего, это я так...

«Так». Понять бы это «так».

— Я ведь, знаешь, обычная женщина, — говорит, — и мечты мои самые обычные, приземленные. Нет в них ничего запредельного. Все просто. Мужа, к примеру, хочу доброго, светлого, чтобы смотреть на него и тянуться, как листочки апрельские к солнышку. И чиститься под этим солнышком, оттаивать от нелюбви потихонечку. Я б ему ребенка родила, а то и двоих. Дети — это ведь счастье, правда? И не нужен мне какой-то там богач, олигарх или, как сейчас любят говорить, состоятельный. Мне, Коля, человек нужен. Че-ло-век, понимаешь? И кабы нашелся такой, так всю жизнь прошлую свою оставила бы в прошлом и Бога бы молила, чтоб простил мне мое беспутство и распутство. И знаю, что простил бы. Я бы так молилась, что простил бы. Эх, Коля...

Плачет опять. Навзрыд. Ну что я тут могу? Как мне ее утешить, и надо ли? Может, лучше ей от этого, кто знает?

— Вот, говоришь, понравилась я тебе. Сказал бы ты это годков пять-семь назад, пропустила бы мимо ушей. Ухмыльнулась бы, пошла, задрал нос кверху. А сейчас слова такие для меня самые желанные, самые нужные, самые честные. Я за такие слова, Коленька, на все готова, потому как не слышала их от нормальных, обычных людей никогда. Говорили, конечно — клиенты, — но, сам понимаешь, с другим смыслом. Тошнит меня

от этого смысла, наизнанку выворачивает. Прости меня за то, что душу тебе здесь изливаю. Некому больше. А ты хороший, я сразу поняла...

Вот что это? Как к таким словам приспособиться? Смотрю на нее, чувствую тепло ее, искренность ее чувствую, и хочется верить. Да так, чтобы видеть в ней только доброе, и во всем мире это же видеть. Нестерпимо хочется. А после забрать ее с собой, навсегда забрать и не отдавать никому. Спрятать от всего мира, чтобы отдышалась.

С другой же стороны, червячок сомнения копошится в мозгу и тоже покоя не дает. Ведь кто она? Ты знаешь, Коля, кто, и о прошлой жизни ее догадываешься. Фантазируешь напропалую. И все это на фоне неудачной собственной личной жизни. Ведь целых два года жил со своей, не тужил. Вернее, думал, что не тужил. Жениться хотел. В ювелирный закахивал с гордым видом. Колечки обручальные присматривал. А она, бац, и все твои светлые помыслы в шелуху превратила. И было бы с кем... Как с такими мыслями покой обрести и научиться заново людям верить? А ведь верить надобно, иначе нельзя, иначе жизнь не жизнь, а жалкая пародия.

– А пошла б за меня? – тихо так, с опаской.

– Пошла бы...

– А то, что я торгаш, ничего? Сама говорила.

– Плевать. Пошла бы...

...Тяжелый стук в дверь купе, неожиданный яркий свет, и все тот же сиплый голос проводницы будит нас:

– Миграционные карты заполняем. Белгород через сорок минут.

Заполняю спросонок, ей не надо. Вот такие мы теперь, граждане разных государств. Странно, если честно.

Два часа в ожидании. Все, как обычно. Милиция, таможня. Российская, украинская. Слава Богу, без особых придинок и лишних расспросов. По прошествии всех необходимых «процедур», улыбаясь, переглядываемся и засыпаем. Помню, где-то под утро поцеловала меня и перебралась на свое спальное место.

Голос проводницы будит резко и грубо:

– Эй, вы там, Симферополь через пятнадцать минут. Ну, дают же люди.

– Понял, понял, встаю...

Поднимаюсь. Веры нет. Нижнее место поднято. На столике записка: «Если не передумаешь, звони, жду, люблю. Вера» – и телефон.

Выхожу на перрон неумытый, сонный. От собственного перегара тошнит. Во рту Сахара. Солнце крымское безжалостно бьет по глазам. Стою как дурак с чемоданом, пакетом и прощальным листком от Веры. Губы сами собой повторяют ее строки: «Жду, люблю, люблю, жду!» С похмелья все кажется какой-то не очень доброй сказкой. Хочется все забыть и послать к черту. Так бы и сделал, наверное, но неожиданный ветерок вырывает у меня из руки бумажку с номером телефона. И уносит ее куда-то вверх на высоту электропроводов, потом бросает вниз на асфальт, пудрит ее со всех сторон летней пылью и так несколько раз. Что-то находит на меня, и я слежу за этой летящей бумажкой, а спустя полминуты, опомнившись будто, бегу за ней. А она летит к пригородным электричкам. Прилипает к окну одной из них. Я за ней. Подбегаю, чуть не сбивая с ног прохожих, и вот моя рука почти хватает заветную бумаженцию. Но ветер куда хитрее, отрывает от оконного стекла и уносит к другой электричке. Бегу... Наконец-то бумажка находит пристанище в пустом тамбуре одного из вагонов. Ветер знает свое дело. Захожу туда, беру с облегчением. Радуюсь, как мальчишка. С довольным видом кладу в карман и думаю пойти к ялтинскому троллейбусу. Но происходит неожиданное. Двери электрички закрываются и состав трогается.

– Куда едем-то? – кричу сам себе. – Кудаа?

Беспризорный мальчишка лет десяти с обшарпанной зеленой двухрядкой удивленно смотрит на меня. Потом едко усмехается и отвечает:

– Куда, куда! В Джанкой, куда еще...

– В Джанкой? – переспрашиваю я.

– В Джанкой, в Джанкой...

## СМЕРТЬ ОДИНОКОГО ЧЕЛОВЕКА

Когда я спросил у бабы Тони, самой старой обитательницы нашей коммуналки, о новом жильце, которого никто из нас, кроме нее, еще и в глаза не видел, она заворчала и даже толкнула дверь его пустующей комнаты ногой:

– Этот, что ли? Милиционер?

– А он разве милиционер? – не очень доверяя бабе Тоне, насторожился я. Только милиционеров нам и не хватало.

– Говорят, милиционер, – еще больше рассердилась баба Тоня (она всегда и на всех за что-нибудь да сердилась и негодовала по любому поводу). – Но настоящий или бывший – пока неизвестно.

– А почему не переезжает?

– Да бог его знает...

– Пьют?

– В этом доме все пьют, – отрезала баба Тоня, причисляя и меня к злостным пьяницам.

Пришлось мне согласиться с этим почетным званием: спорить с бабой Тоней совершенно бесполезно – последнее слово всегда остается за ней.

Появился новый жилец месяца через полтора. Он перевез в одиннадцатиметровую свою комнату стол, пару стульев, да несколько узлов с бельем и кое-какими вещами. Мы стали потихоньку приглядываться к нему и привыкать. Это был коренастый мужчина средних лет, с редкой козлиной порослью на подбородке. К тому же еще и изрядно полысевший. Куцая эта бородавка внушала мне некоторое сомнение по поводу его принадлежности к милиции. Мент с бородой в мои обширные представления о сотруddниках МВД явно не вписывался.

Вскоре, правда, это наивное мое предубеждение рассеялось. Новому жильцу целыми пачками приходили служебные письма и бандероли с уведомлением, о чем нам немедленно доложила

баба Тоня. Фамилию жильца я теперь уже забыл (кажется, она была украинской и заканчивалась на «о»), а вот имя помню. Звали его Сашей. В милицию Саша, скорее всего, пошел в молодые годы лишь затем, чтоб перебраться из какого-нибудь украинского городка, а то и деревни в столицу. Подобных ментов в Москве хоть отбавляй.

У Саши оказалось множество всякого рода увлечений и пристрастий. Возле его комнаты лежали футбольные мячи, теннисные ракетки, гири и гирьки, самодельная штанга, банная шапка, березовый веник, рыбацкий ящичек-сиденье, охотничьи грязно-зеленого цвета сапоги с высоченными голенищами, плащ-палатка и многое другое. Баба Тоня, глядя на Сашино богатство, которое мешало ей бродить по коридору, опять ворчала и грозились все повыбросить: «Разложился тут...»

А у меня на этот счет было иное мнение. Во-первых, натякаясь на кухне на приходившие Саше письма и невольно прочитывая обратные адреса, я видел, что у него есть не только сослуживцы (или бывшие сослуживцы из милиционеров), но и просто хорошие, похоже, боевые друзья-товарищи. Они не забывают его, ценят за это боевое прошлое, о подробностях которого я мог только догадываться. А во-вторых, думалось мне, при нормальном жизненном раскладе: наличии семьи и более-менее сносной отдельной квартиры — Саша обязательно стал бы прекрасным мужем и заботливым отцом. Но расспрашивать его о прошлой жизни я не решался, да и зачем она мне нужна. Я был тогда еще безнадежно молод и, по правде говоря, меня не очень-то и интересовала чья-либо чужая жизнь. Все люди, перешагнувшие сорокалетний рубеж, казались мне неудачниками и аутсайдерами. Было в них, по моим юношеским представлениям, что-то от холотропно дышащей, только что пойманной рыбы. Менты же, вообще, будили в моем сознании одни лишь негативные эмоции. Я считал, что душевная чистота, честность, сострадание к ближнему в них напрочь отсутствуют. Более того, я был совершенно согласен с циничной современной поговоркой: «Хороший мент — мертвый мент!» К Саше я относился примерно так же, хотя мне



он ничего плохого и не сделал...

Обретался в нашей коммуналке еще один сосед, Пантелей Романович, тучный старик лет семидесяти, действительно любящий хорошо выпить и еще лучше закусить (часто за наш с бабой Тоней счет, беззастенчиво заимствуя у нас котлеты, колбасу или любую иную еду, которая попадалась ему под руку). Для краткости и удобства общения мы называли его просто Пантелеем. Выпив рюмку-другую, Пантелей задевал каждого встречного-поперечного, любил побеседовать с ним на философско-житейские темы.

Сашу он, правда, в глаза предусмотрительно не трогал. Судя по всему, как все пьяницы, побаивался милицейского его звания. Но за глаза творил ему всякие мелкие пакости. То возьмет без разрешения гирю или футбольный мяч и после неделями не возвращает, то вдруг нарядится в Сашины болотные сапоги и плащ-палатку и в таком виде демонстративно разгуливает по двору, то, ерничая, называет Сашу в разговоре со мной и бабой Тоней «гражданином начальником».

Саша переносил мелкие эти пакости Пантелея спокойно, ни разу не вступил с ним в пререкания, чем, кажется, сильно разочаровал Пантелея. Вскоре Саша оформил пенсию и стал искать себе работу охранника или что-либо в подобном роде. Но у него вначале ничего не получалось: в одном учреждении-офисе ему говорили, что он не подходит по возрасту (это всего-то в сорок четыре года!), в другом отказывали из-за его боевого прошлого — дескать, все «афганцы» и «чеченцы» психи, и с ними лучше не связываться, третье место не устраивало самого Сашу — слишком маленькая зарплата, и ездить на службу надо через всю Москву. Любой иной отставник плюнул бы на все и припеваючи жил на военно-милицейскую свою пенсию. Но Саша был мужиком упрямым: он целыми днями оккупировал наш общий коммунальный телефон, и в конце концов у него все срослось. На работу Саша устроился, и, кажется, очень удачно. Баба Тоня, рьяно следившая за порядком в квартире, расходом мощных средств и туалетной бумаги, немедленно откликнулась

на это:

– Пенсия у него в два раза больше моей, зарплата – двадцать пять тысяч (откуда только и узнала?!), а на туалетную бумагу три рубля жалко.

Пантелей тоже не преминул укорить Сашу своим излюбленным философско-содержательным замечанием:

– Гражданин начальник – ему все можно...

Я же предпочел отмолчаться. С Сашей мы почти не общались, поздороваемся утром на кухне – и все разговоры. Лишь однажды перед Новым годом Саша, будучи заметно навеселе, подошел ко мне во дворе дома и, хорошо зная мое увлечение игрой на гитаре, добродушно спросил:

– Ну, как она, жизнь молодая? Играешь?

– Нормально. Играю... – не проявляя особого интереса к его вопросу, ответил я и пошел по своим делам.

А Саша остался стоять возле подъезда. Моя холодность обидно задела его. Он, кажется, хотел выпить со мной и поговорить по душам «за жизнь», но я был в тот момент трезв, как стеклышко, и не расположен к подобным разговорам.

Так мы и жили в развеселой нашей коммуналке, вроде все вместе, под одной крышей, но в то же время – и каждый по отдельности. И вдруг я стал замечать, что по утрам из туалета доносятся громогласные хрипы и стоны, что там кого-то немилосердно тошнит, выворачивает все внутренности. Подобные вещи могли происходить либо с человеком, сильно страдающим от какой-нибудь желудочной болезни (застарелой язвы или гастрита), либо с большим любителем выпивки, который вчера слишком «перебрал» и теперь мучается жестоким похмельем. Я сам по молодости не раз «перебирал» все мыслимые и немыслимые нормы и хорошо знаю, что это такое.

Поначалу я подумал на Пантелея. Во-первых, он выпить не дурак, а, во-вторых, кто-то подсказал старику, что лечиться от избыточного веса можно очистительными клизмами. Пантелей со всем энтузиазмом и занялся этими процедурами, забрызгивая после них туалет таким ядовитым дезодорантом или жидкостью

для травли тараканов, что переносить их зловоние было во сто крат труднее, чем любые иные туалетные запахи.

Но вскоре выяснилось, что Пантелей здесь ни при чем. По утрам в туалете болезненно, часто до потери сознания, тошнило Сашу. Это были первые звоночки и колокольчики, которыми напоминала о себе какая-то давняя запущенная им болезнь...

\* \* \*

Как Саша от нее лечился, я, к сожалению, не узнал. Вскоре я женился и переехал на квартиру к жене, а свою комнату сдал двум знакомым студентам. В коммуналке я появлялся теперь очень редко, лишь затем, чтоб узнать, все ли там в порядке, и не слишком ли студенты досаждают бабе Тоне и Пантелею.

Во время одной из таких «проверочных» поездок я возле подъезда нашего дома столкнулся с Сашей. Судя по всему, он возвращался с зимней подледной рыбалки (на плече у него висел походный рыбацкий ящичек). Шел Саша, тяжело дыша, покачиваясь, словно пьяный, из стороны в сторону. Похоже, колокольчики его звонили все сильнее и сильнее...

Мы с ним молча кивнули друг другу, но не остановились и не заговорили, оба прекрасно понимая, что говорить нам не о чем: я — молод и здоров, наслаждаюсь семейной медовой жизнью, а он — смертельно болен...

Несколько месяцев после этой случайной встречи с Сашей я опять не появлялся в коммуналке. А когда однажды заглянул, студенты рассказали мне, что Сашу навещает какая-то женщина из нашего же дома. Она ухаживает за ним, моет полы не только у Саши в комнате, но и во всей квартире, готовит ему обед. Но Саша почти ничего не ест, он сильно исхудал, козлиная его бороденка совсем поредела и заострилась, проплешина на голове превратилась в настоящую лысину, обнажив туго обтянутый посиневшей кожей череп. Но больше всего студентов удивляло то, что при таком предельном истощении у Саши вырос громадный живот. По прежней своей жизни (и армейской, и послеар-

мейской, когда я скитался по Москве в поисках пристанища) я был немного знаком с медициной и догадался, какая болезнь мучает Сашу. Скорее всего, у него асцит, брюшная водянка, и спасения от нее нет...

Сашу в тот день дома я не застал. Студенты сказали, что он ушел то ли на любимую свою рыбалку, то ли просто погулять в сквере. Я твердо решил подождать его и поподробней расспросить о болезни (вдруг все-таки ошибаюсь), а может, чем-нибудь и помочь. Но тут мне по мобильнику позвонила жена, сказала, что мы вечером идем в театр, и надо поскорее возвращаться. Я попрощался со студентами и уехал, так и не встретившись с Сашей – огорчать жену мне не хотелось...

В своих догадках о Сашиной болезни я не ошибся. Через полгода он умер. Узнал я об этом случайно. Мои квартиранты, сдав весеннюю сессию, решили съехать с квартиры (то ли нашли себе жилье получше, то ли им пообещали дать общежитие). Они позвонили мне, чтоб сообщить об этом намерении, а заодно и рассказали о Сашиной смерти. Похороны и поминки организовала ухаживающая за ним женщина. Проститься с Сашей пришли многие его сослуживцы. Они вспоминали о совместных с Сашей командировках на Северный Кавказ, об участиях в боевых операциях и вообще о нелегкой ментовской службе, которая гражданским людям не всегда ясна и понятна. Саша был и остался для них хорошим, надежным товарищем. На него можно было положиться в любой обстановке. Жаль только, что они мало чего знали о последних месяцах Сашиной жизни и о его болезни (у каждого свои дела, свои заботы), а то непременно помогли бы и в беде не оставили. Военное братство – нерушимо.

Свою комнату Саша переписал на имя ухаживающей за ним женщины. Она, как могла, поддерживала его, никогда не выказывая уныния в предчувствии скорой смерти близкого человека. Забота ее о Саше вовсе не была связана с тем, что она рассчитывала получить его комнату. Просто эта чужая женщина была таким редким по нынешним временам человеком...

– Других родственников не нашлось, что ли?! – вскоре

после похорон осуждала Сашу и по смерти баба Тоня.

Пантелей глубокомысленно поддакивал ей:

– Гражданин начальник – какие у него родственники!

И оба старожила на этот раз были совершенно правы: других родственников у Саши действительно не нашлось...

\* \* \*

Со дня смерти Саши минул год, а то и больше. Казалось бы, мне можно было бы о нем и забыть. Но каждый раз, когда я приезжаю на старую свою квартиру, мне становится непередаваемо больно и пусто на душе... Холодок случившейся в ней смерти еще играет вечно открытой форточкой нашей коммунальной кухни. Иногда я пытаюсь успокаивать себя: ну, кто мне этот Саша и что мне до него?! Но пустота и боль не отпускают меня. Все люди вместе и каждый из нас в отдельности принадлежат не только самим себе. Наша полная перипетий жизнь – есть крохотная частичка чьих-то других, чужих жизней, а их жизни – частицами нашей... Видит Бог – это так! Все мы в одной лодке. Будем же внимательны друг к другу...